

Рецензии

Из глубины экрана: интерпретация кинотекстов

Вадим Михайлин

М.: Новое литературное обозрение, 2025. – 512 с.



В формулировке замысла и устройства обсуждаемой книги ее автор – филолог,

антрополог, теоретик культуры, переводчик Вадим Михайлин, состоявший в этой работе во всех перечисленных обликах, – максимально сдержан:

«Это... лоскутное одеяло, сшитое из текстов, часть из которых публиковалась когда-то в качестве отдельных статей, а часть просто проговаривалась перед небольшой, но заинтересованной публикой, имевшей (и до сих пор имеющей) обыкновение ходить на комментированные кинопоказы, которые я время от времени устраиваю на разных саратовских площадках» (с. 7).

Акцентируя внимание на пестроте своего «лоскутного одеяла», автор в некотором смысле отказывает ему в цельности – однако все сложнее. Действительно, в книге как будто нет речи ни о систематическом концептуальном моделировании кинематографа как явления (такая задача, конечно, была бы непомерной, но Михайлин, кажется, как раз из тех немногих, у кого получилось бы ее выполнить), ни о всеохватности материала (и даже пре-

НОВЫЕ КНИГИ

тензий на это): сплошь анализ отдельных случаев, каждый из которых, несомненно, характерен в том или ином интересующем автора отношении, но выбраны эти случаи, кажется, с известной степенью произвольности.

Вошедшие в книгу тексты распределены по трем разделам: «Кино как симптом», «Кино как жест» и «Авторские языки кинематографа». Каждому из разделов сопутствует (но вряд ли жестко к нему привязан) «Кинопоказ» с подробным анализом какого-нибудь фильма, а в случае «Авторских языков...» – целых четырех. Замыкается вся конструкция двумя приложениями: анализом советских языков умолчания (в основном, но не исключительно, в кино) и рецензией на англоязычную монографию Лиды Укадеровой «Кинематограф советской оттепели: пространство, материальность, движение». Основной предмет внимания автора в книге – кинематограф советский, с некоторыми немногочисленными инокультурными включениями («М» Фрица Ланга, «Барышни из Вилько» Анджея Вайды, «Дуэлянты» Ридли Скотта и «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо). Кинематограф постсоветский представлен только мультипликацией Ивана Максимова.

Однако за всеми этими точечными случаями, за всей их как будто разнородностью стоит цельная, стройная и связанная система взглядов автора, которая выговаривается в связи с каждым из фильмов, создает им общую теоретическую основу. Она не формулируется открыто и последовательно (но легко вычленяется из всего, что говорится по конкретным поводам) и не особенно проблематизируется. Она скорее нечто вроде прочной металлической сетки, которая накладывается на всякий предмет – и он (как демонстрирует автор), без остатка в нее умещается.

Вадим Михайлин вообще написал чрезвычайно много на очень многие темы, и тексты, составившие этот пятисотстраничный том, – лишь небольшое избранное; сюда вошли даже не все его работы о кино: вспомним хотя бы изданный пять лет назад тем же «НЛО» сборник написанных им в соавторстве с Галиной Беляевой статей о советских школьных фильмах начала 1930-х – середины 1960-х¹. Наличие столь внушительной основы делает для автора возможной энциклопедическую ширину тематического диапазона – от литературы до разного рода социальных техник, практик и символических систем. Тематический диапазон широк даже в одной этой книге, посвященной как будто исключительно кинематографу – а на самом деле далеко не только ему. В каком-то смысле кино, «самое [...] антропологическое из искусств» (с. 7), как уже не в первый раз² говорит Михайлин, всего лишь предоставляет исследователю материал для выговаривания этой концептуальной основы – зато, пожалуй, материал наиболее выразительный.

В киноискусстве Михайлин усматривает «симптом» – скорее совокупность таковых (первый раздел книги так и называется, но то же восприятие лежит в основе и остальных ее разделов) или даже систему улик: то, в чем человек многократно, многосторонне и незаметным для себя образом проговаривается. Это с одной стороны. С другой (оставляя в стороне собственно художественные аспекты этого искусства, о которых тоже идет речь в книге), автор рассматривает кино как огромный, подробный и совершенно сознательно выстраиваемый манипулятивный механизм, с помощью которого режиссер – а в случае советских фильмов, в конечном счете, само государство – настраивает зрителей нужным для себя образом, вызывая у них требуе-

1 Михайлин В., Беляева Г. *Скрытый учебный план: антропология советского школьного кино начала 1930-х – середины 1960-х годов*. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

2 Эта его мысль уже знакома нам по «Скрытому учебному плану».

мые чувства и формируя у них в головах необходимые представления, ценности и установки – тем вернее, чем менее зрители в своей доверчивости это замечают (и все, относимое к эстетике, именно на манипуляцию и работает). «Самое антропологическое из искусств», таким образом, предстает как самое антропопластическое – задающее человеку форму, меняющее его свойства – и даже как самое антропоургическое, работающее с самой сущностью человека.

У теории же, лежащей в основе вошедших в книгу (и других, не вошедших) текстов автора, есть три взаимосвязанных уровня: антропология, теория исторического процесса (по крайней мере советского времени) и теория культуры в целом. Сформируем сначала антропологический ее уровень. Человек, согласно по умолчанию принимаемой Михайлиным модели, существо тотально символическое: буквально каждый шаг полон значениями, нет пустой породы; соответственно, каждый шаг его и характеризует, и выдает: на каждом шагу он неминуемо проговаривается. В человеке (и тут автор – верный ученик Фрейда) есть по меньшей мере два слоя, или уровня, существования: слой явного и слой неявного; в нем необходимо существуют некоторые содержания, которые не допускаются на поверхность, замалчиваются – поскольку не вписываются в доминирующий / предпочитаемый образ реальности. Но, не имея возможности быть высказанными прямо, эти подавляемые, запретные содержания высказываются косвенно, окольными путями, в шифрах, устройство которых возможно проследить, смоделировать процесс их образования.

В такой дешифровке, в выявлении истинных интенций художественных высказываний, их идеологической подоплеки, их подтекстов и умолчаний и состоит смысл исследовательской работы для автора (в этой модели интеллектуального поведения исследователь – отчасти детектив,

отчасти психоаналитик). А можно сказать и так – мы не зря упомянули, что автор в книге состоялся во всех своих профессиональных обликах, включая и переводческий: в каком-то смысле переводческая позиция здесь ведущая: автор только тем и занят, что переводит события искусства на рациональный язык исходя из презумпции их тотальной, без остатка, переводимости.

Историю советских десятилетий автор представляет как последовательность трех сменяющих друг друга мобилизационных проектов – сталинского, оттепельного и позднесоветского, – в свете которых кинематограф соответствующего времени форматировал своего зрителя, чтобы вовлечь его в свои проекты желательно как можно более целиком. Власть (в том числе посредством искусства) обращается к подвластному ей народу разными языками, которые (сохраняя свою сущность) меняются «с каждым очередным поворотом генеральной линии партии» (с. 11). В свою очередь у целевой аудитории существует система ожиданий – которой послания, чтобы быть усвоенными, должны соответствовать, при этом она в значительной мере сама поддается формированию, и кино, адресуясь к этой системе ожиданий, одновременно участвует в ее формировании как очень эффективный инструмент. В этом качестве оно тут и рассматривается.

Центральный концепт этой модели – *ситуативное кодирование* (собственно, к системе кодов и к практикам кодирования может быть сведена – фактически и сводится автором – культура как таковая, увиденная как фабрика по производству смыслов с отлаженными конвейерами). У кодирования есть публичный уровень и уровни микрогрупповые: индивидуально-эмоциональный, соседский, стайный (видимо, под «стаей» имеется в виду коллектив, не связанный ни кровным родством, ни устойчивой пространственной близостью) и, конечно, семейный:

«[Это] первый из собственно социальных уровней ситуативного кодирования. [...] О каком бы то ни было самосознании здесь также говорить еще рано, и мы становимся одновременно субъектами и объектами процесса нерелексированного и неподконтрольного “смещения кодировок”, где первичные аффективные реакции на (случайные) раздражители обрастают смыслами из семейного уровня ситуативного кодирования» (с. 32).

Эти уровни связаны друг с другом, власть использует в своих целях их все. На материале кино Михайлин показывает, как именно она это делает, добираясь, в конечном счете, до уровня самого-самого глубокого, изначального, дорефлективного, где складываются самые априорные смыслы:

«Весь получаемый нами опыт мы “приписываем” к одному из тех уровней ситуативного кодирования, которые формируются у нас на ранних этапах индивидуального существования. Формирование аффективных реакций относится к самым ранним стадиям психической деятельности и составляет основу индивидуально-эмоционального уровня ситуативного кодирования» (с. 31).

Поскольку этот «черный ящик» (с. 31) в силу своей дорефлективности не очень доступен, особенно эксплуатирует она уровень семейный:

«Именно он превращается в наилучший набор отмычек к первичным аффектам. И одно из базовых ноу-хау социальной манипуляции – научиться этими отмычками владеть. [...] Это ноу-хау открыто было достаточно давно: с ним работают уже в античности как в целях прямой политической манипуляции (Август), так и в аспекте деконструкции (Софокл)» (с. 32).

Символика, которую человек себе создает, моделируя реальность, овладевая ею, защищаясь от нее, создает – показывает автор – самого человека, причем, как пра-

вило, без того, чтобы человек сам отдавал себе в этом отчет. Михайлин (у которого очень важен также концепт «вмененного» – смыслов, значений и так далее, – то есть того, что не рефлектируется, принимается как само собою разумеющееся и тем вернее вертит человеком) создает средства к тому, чтобы такой отчет стал хоть в какой-то мере возможен. Его собственное дело состоит в том, чтобы сделать незаметное заметным, неосознаваемое – осознанным. В этом смысле он прямой наследник просветительского проекта во фрейдовской версии (недаром он на Фрейда не раз ссылается): где было (темное хаотичное) «оно», должно стать (ясное, критичное, рациональное) «я».

Демонстрируя максимально разные культурные формы как манипуляционные техники (в конечном счете, инструменты власти), Михайлин, несомненно, вкладывает в наши руки тщательно разработанный инструментарий для разрушения всяческих иллюзий. В каком-то смысле все это – о том, как люди обманывают и оболещают, обманываются и самообманываются; о структуре завесы, отделяющей от наших глаз реальность или, куда вернее, заменяющей нам ее; скорее о способах невидения, чем о способах видения. Вот характерный для автора ход мысли:

«Искусство паразитирует на одном из ключевых свойств нашей психики, категорически необходимом для того, чтобы сохранять иллюзию контроля в потоке информации, радикально превышающем возможности не только нашей памяти, но даже нашего внимания: на привычке к ситуативности восприятия, к необходимости “ставить рамку”, внутрь которой попадает информация, назначаемая нами релевантной. Вся прочая информация попросту “не замечается”. [...] Искусство [...] манит нас фантомом контроля непоколебимого: в пространстве, в обстоятельствах и во времени. [...] Именно по этой причине искусство несет на себе ответ

божественного. Идея Бога “впечатана” в наше сознание все той же невротической одержимостью неполнотой контроля. Если ситуативные рамки, которые мы в состоянии удерживать, не вмещают всей потенциально значимой информации, то одна из наиболее логичных стратегий коррекции подобного положения вещей как раз и заключается в изобретении всеобъемлющих внешних инстанций, способных если не контролировать все не учтенное нами, то во всяком случае выстраивать несравнимо более широкие когнитивные рамки» (с. 257–258).

Но чего же все-таки не хватило прирчивому автору этих строк в теоретическом построении Михайлина – спору нет, виртуозном, захватывающем и чрезвычайно, до неожиданного, насыщенном историческим материалом (вплоть до того, что в рассмотрение вовлекаются и глубокие античные корни европейской культуры, и алхимическая традиция, и карты Таро)? Пожалуй, зазора между теоретической схемой и веществом искусства, неполноты их совпадения, сопротивления искусства его тотальной – как показывает исследователь – инструментализации; того, чтобы на это вообще обращалось хоть какое-то внимание. Проблематизации самой схемы, принятой за априорную.

Интересно, что при анализе произведений зарубежного кино – немецкого, польского, британского, французского – Михайлин совершенно оставляет тему власти, манипулируемого ею народа и мобилизационных проектов, хотя было бы наивно предполагать, что власти соответствующих стран обходились вовсе без таковых. Идея манипулирования и искусства как его механизма сохраняется, но интерпретационные игры становятся гораздо интереснее, и анализ – существенно более тонким.

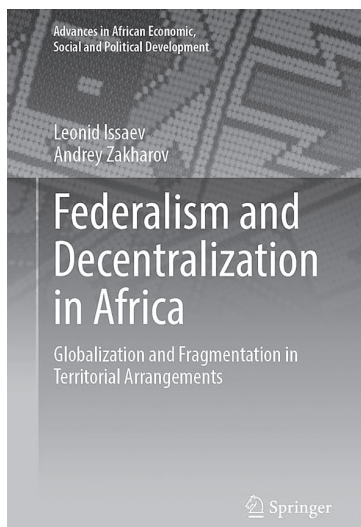
Ольга Балла-Гертман

ФЕДЕРАЛИЗМ НА ОЗЕРЕ ЧАД И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ

Federalism and Decentralization in Africa. Globalization and Fragmentation in Territorial Arrangements

LEONID ISSAEV, ANDREY ZAKHAROV

Cham: Springer, 2024. – 215 p.



Рост народонаселения и расширение экономики, фиксируемые в Африке в первой четверти XXI века, а также обусловленные ими вопросы институционального и инфраструктурного развития уже давно сообщили дискуссиям о будущем этого континента неослабевающую актуальность. Однако у повышенного интереса к африканским исследованиям имеется и иное, не столь заметное, но напрашивающееся основание: чем больше нюансов современной африканской жизни открывается перед любопытствующей читающей публикой, тем более отчетливо предстают перед ней неожиданные параллели и сходства с совсем неафриканскими контекстами. Действительно, формальных оснований для сравнения, например, Африки и России в настоящее время больше чем достаточно: ведь в обоих случаях речь идет о социумах с преимущественно сырьевой

экономикой, большим социальным расслоением, невысоким уровнем политико-правовой культуры, сложносоставным в этническом и религиозном плане населением. И там и здесь искусственность некоторых институтов, в фундаменте которых нет ничего, кроме наивной веры в надуманно-прекрасное будущее, проявляет себя во всей красе, создавая острейшие социальные проблемы. Иначе говоря, расширение исследовательского горизонта, допускающее сопоставление традиционно несопоставимого, рождается как бы само собой.

Именно такая попытка выйти за привычные компаративистские рамки представлена в рецензируемой книге, авторы которой сочетают умение пристально всматриваться в общественно-политические явления с искусством правильно выбрать, на что действительно стоит взглянуть. Проскальзывающие между строк отсылки к отечественному опыту не только продвигают федералистскую компаративистику как увлекательный жанр, но и втягивают политическую историю африканского континента в общемировой контекст. Федеративные эксперименты Африки благодаря этому перестают быть периферийной отраслью, поскольку в них вдруг обнаруживаются общезначимые закономерности, присущие любым многоуровневым системам независимо от того, кем, когда и как они учреждались. Постоянное обращение авторов к классическим текстам Дэниела Элазара, Дональда Горовица, Кеннета Уэйра или Уильяма Райкера помещает предлагаемые в работе нарративы в рамку общетеоретических представлений о федеративном строительстве в сложносоставных обществах. Тем самым новые знания о федералистских моделях встраиваются в устоявшуюся систему координат.

Тематически книга подразделяется на три части, которые посвящены конкретным типам федеративных экспериментов – либо уже канувшим в прошлое, либо развора-

чивающимся в настоящем, либо с вероятностью ожидаемым в будущем. Кейсы выстроены хронологически: в каждом из них излагается ретроспектива конкретного политического проекта с таящимися за ним конфликтами, его современное состояние, а также институциональные и внеинституциональные перспективы. Ниже будут проанализированы наиболее важные, на мой взгляд, авторские позиции, излагаемые поглавно.

В первом разделе книги в качестве африканских федеративных систем, на сегодня прекративших свое существование, рассматриваются Федерация Родезии и Ньясаленда (1953–1963) и Федеративная Республика Камерун (1961–1972). Авторский выбор пал на эти государства не случайно: их очевидное подобие дополняется столь же явной несхожестью, причем как в динамике федеративных отношений, так и в причинах отказа от таковых.

Если говорить о первом из этих образований, то Федерация Родезии и Ньясаленда создавалась в преддверии ухода британских колонизаторов из южной части континента для того, чтобы противодействовать политике апартеида, все более властно утверждавшейся в соседней ЮАР и угрожавшей выплеснуться за ее пределы. Подобные крайности британских политиков совсем не устраивали. Кроме того, к запуску федеративного строительства Лондон подталкивали нужды консолидированного и координируемого развития трех подчиненных британцам, но при этом разнородных территорий: самоуправляющейся Южной Родезии, несамоуправляющейся Северной Родезии и остающегося в статусе протектората Ньясаленда. При этом местные поселенческие элиты стремились навеки законсервировать превосходство белого меньшинства, отсекая черное население от участия в общегосударственной политике.

Получившийся на выходе расистский федерализм эмблематично именовался «парт-

нерством всадника и лошади» (р. 10–12). Фундаментальное несходство амальгамируемых обществ настораживало искушенных наблюдателей изначально; Кеннет Уэйр, например, делавший по запросу Уайтхолла экспертную оценку инициативы, изначально предупреждал, что будет очень трудно «создавать федерацию из территорий, которые отличаются столь разными уровнями конституционного развития» (р. 15). Получилось именно так, как предсказывал специалист, а может, даже и хуже: Федерация Родезии и Ньясаленда начала распадаться буквально на следующий день после провозглашения, оказавшись, по мнению авторов книги, выдающимся по своей бездарности продуктом политического творчества колонизаторов, в ходе изготовления которого «неоднократно и грубо попирались азы федералистской теории» (р. 23).

Федеративная Республика Камерун, напротив, затевалась уже в постколониальную эпоху, а ее создатели преследовали иные цели: им было нужно собрать единую нацию из двух больших сообществ, говорящих на языках ушедших колонизаторов – франкофонного и англофонного. Значение федерализма в данных обстоятельствах трудно переоценить: ведь носители более 250 местных наречий и диалектов, не делавших сколько-нибудь заметного вклада в становление будущей национальной идентичности, могли объединиться в новую политику, лишь приняв, как ни парадоксально, язык одной из бывших метрополий (р. 28–30). Поскольку франкофонные элиты в стране доминировали – Французский Камерун был крупнее Британского Камеруна и территориально, и демографически, – федерализм воспринимался ими лишь в контексте подтверждения собственной гегемонии: как полезный инструмент планируемого «дружественного поглощения» (*friendly takeover*) (р. 30–34). По этой причине, как

только цель была достигнута, поддерживать диковинное приспособление в исправности уже не требовалось – и федеративный проект в Камеруне был очень быстро свернут при полнейшем народном одобрении. Однако такой разворот обернулся другой крайностью: изгнанием английского языка из официального обихода и вытеснением его носителей из политической жизни государства, что закономерно поставило современный и теперь уже унитарный Камерун на грань гражданской войны, а возможно, даже и распада.

Во втором разделе книги рассматриваются четыре африканских государства, которые применяют федерализм на современном этапе – Нигерия, Эфиопия, Южно-Африканская Республика и Коморы.

История федерализма в Нигерии отчасти напоминает проблемный путь Федерации Родезии и Ньясаленда: здесь похожим образом противостояли друг другу три этнополитических субъекта – Север, Восток и Запад, – представлявшие наиболее крупные национальные группы (хауса-фулани, йоруба, игбо). Накануне предоставления нигерийцам независимости англичане, желая поддержать консервативные элиты мусульманского Севера, административно разделили южную часть страны на два сегмента, столкнув политические амбиции йоруба и игбо. Внедренное ими устройство породило гиперсубъект федерации, заведомо способный подавлять центробежные тенденции в регионах и тем самым предотвращать повторение родезийского казуса.

Но при этом, однако, и тут федерализм интерпретировался крайне специфично: как средство господства и угнетения партнеров по союзу. Неудавшаяся сецессия Би-афры заставила бывшего гегемона перетолковать федеративные начала нигерийской государственности³, наполнив их новым содержанием: поскольку титульные нации

3 Подробнее см.: ЗАХАРОВ А. А. *Биафра навсегда* // Неприкосновенный запас. 2023. № 5(151). С. 298–305.

в каждом из регионов Нигерии вели себя по отношению к этническим меньшинствам точно так же, как их северные братья по отношению к ним самим, было решено увеличить количество субъектов федерации с тем, чтобы ни в одном из них никакая этническая группа впредь не преобладала численно. Авторы реформы надеялись, что в результате «появятся предпосылки для подъема партий меньшинства, которые, не имея в прежней системе никаких шансов на доступ к бюджетному пирогу, теперь приобретут ощутимый вес и включатся в коалиционную политику» (р. 69).

Поддержание такого подхода к федеративному устройству не зависело от того, гражданское или военное руководство находится у руля государства. Тем не менее успех был довольно относительным; если бы дело обстояло иначе, то нынешним нигерийским авторам не пришлось бы неустанно рассуждать о «подлинном федерализме» (*true federalism*), что не только дискредитирует едва ли не весь предшествующий опыт, но и выглядит методологически некорректным – ведь настоящую «подлинность» федерализму сообщает не приближение живой практики к какому-то абстрактному идеалу, а его созвучие с нуждами политического сообщества в конкретный момент.

Федеративное устройство сегодняшней Эфиопии анализируется в книге в свете ее первой федерализации, состоявшейся в 1950-х. Тот забытый ныне проект, предполагавший слияние эфиопских и эритрейских земель, оказался нежизнеспособным из-за двух обстоятельств: во-первых, он беззастенчиво навязывался внешними силами в лице Организации Объединенных Наций, а во-вторых, эфиопский негус Хайле Селассие I видел в федеративном устройстве всего лишь способ присвоения соседней Эритреи и желанного выхода к морю (р. 84–92).

Переформатирование федерации в империю, последовавшее через несколько лет после «исторического воссоединения», спровоцировало долгую кровопролитную войну за независимость Эритреи, на деталях которой авторы, к сожалению, не останавливаются, хотя этот исторический эпизод добавил бы весомости аргументам, приводимым в пользу нового федеративного устройства Эфиопии в Конституции 1995 года. Здесь стоит напомнить, что этот учредительный документ не только вернул федерализм в разряд фундаментальных принципов государственного строя, но и наделил все населяющие Эфиопию «нации, национальности и народы» правом на самоопределение вплоть до отделения⁴. Благодаря этому весьма нетривиальному трюку, противостояние нескольких титульных наций в эфиопской федеративной системе было «подморожено», а крайне шаткое государство обрело способность поддерживать хотя бы минимальную стабильность. Поэтому, как точно подмечают авторы, Эфиопия, желая и дальше оставаться единой, «будет вынуждена сохранять федералистскую матрицу – в то же время не отказываясь ее культивировать, совершенствовать, а временами и радикально пересматривать» (р. 107).

Эволюция территориального устройства Южно-Африканской Республики рассматривается авторами в неразрывной связи с политикой апартеида, которая была принята белыми элитами после Второй мировой войны. С провозглашением в 1961 году независимости от Великобритании и преобразованием Южно-Африканского Союза в ЮАР черное население все более безоговорочно отстранялось властями от сколько-нибудь заметного участия в политической деятельности. Одной из форм этого курса выступало учреждение бантустанов – выделяемых из национальной территории се-

⁴ Подробнее об этой особенности эфиопской федерации см.: Erk J. «*Nations, Nationalities, and Peoples*»: *The Ethnopolitics of Ethnofederalism in Ethiopia* // *Ethnopolitics*. 2017. Vol. 16. № 3. P. 219–231.

гегрегированных зон, в которых чернокожим жителям ЮАР предписывалось «самоопределяться» расово, культурно, политически.

Вопреки фразе Уильяма Райкера о том, что идейные расисты иногда могут оказываться рьяными поборниками федерализма – классик, следует напомнить, обобщал в ней некоторые особенности политической истории США, – в южноафриканском случае вопрос о наличии хотя бы минимально федеративных отношений между «белой» республикой и искусственно выкраиваемыми из ее территории «черными» анклавами нельзя было ставить даже с формально-юридической точки зрения. Прикрываясь внешне идеей политического союзничества, лежащей, по сути, в основании любого федерализма, белые элиты, которые допускали в пределах создаваемых резерваций толику самоуправления – там, например, имелись собственные парламенты, президенты и правоохранительные структуры, – категорически не позволяли бантустанам участвовать в принятии решений на общегосударственном уровне.

Финальное превращение бантустанов в «негритянские гетто» самым негативным образом отразилось на восприятии федералистских принципов чернокожим большинством и репрезентирующими его политическими организациями. Именно эта дискредитация прочно склонила покончившую с апартеидом демократическую Южную Африку и доминирующий в ней ныне Африканский национальный конгресс к централизму, а также к изъятию из действующей Конституции 1996 года любых упоминаний о федерализме – при допущении, впрочем, частичного функционирования его важнейших институтов.

Федеративное устройство Союза Коморских островов покажется экзотичным не только российскому читателю; оно вдобавок до самого недавнего времени почти не интересовало и федералистов-компаративистов. Между тем рассмотрение малоизвест-

ных островных федераций в сравнительном ключе способно, вне всякого сомнения, обогатить теорию федерализма в целом и панораму африканского федерализма в частности. Среди проблем, довольно давно мучающих это маленькое государство, выделяются спорный статус острова Майотта, считающегося французским в Париже и коморским в Морони, а также вечные трения центрального правительства с сепаратистами малых островов – прежде всего Анжуана, уже не раз порывавшегося уйти из союза.

Если первая проблема не позволяет островной республике завершить деколонизацию (и в этом смысле она одна такая на всю Африку), то вторая проблема не дает коморским властям полноценно задействовать федералистский потенциал, ибо к дискурсу «самоуправления, сочетающегося с разделенным правлением», охотно обращаются и скрытые сторонники сецессии. Тем не менее именно складывающаяся в результате ситуация своеобразной «федералистской недомолвки» объясняет, почему «на Коморских островах федерализм остается “священной коровой” – бесполезной (из-за неспособности правящей элиты использовать его) и в то же время незаменимо ценной» (р. 152).

В третьем разделе книги представлены два кейса, где к федерализму обращаются нации, государственность которых пока не состоялась, но которые надеются с его помощью ею обзавестись. Федерация в Сомали, ставшая попыткой преодолеть последствия колониального прошлого и в то же время реакцией на поражение в войне с соседней Эфиопией, фактически привела к узурпации власти на местах вождями местных кланов (р. 160–163). С одной стороны, в контексте глубоко фрагментированного общества, не отличающегося высокой политико-правовой культурой, такой «недоделанный» федерализм блокирует сползание к общенациональному кровопролитию, уже

изведанному этой страной три десятилетия назад; но, с другой стороны, клановая федерализация по самой природе своей неспособна сформировать институциональные предпосылки для окончательного прекращения внутренней смуты. Так получается из-за того, что каждое из политических сообществ, присвоившее себе кусочек национальной территории, всеми силами стремится удержать за собой сделанные приобретения – и потому, не стесняясь, пугает правительство в Могадишо возможным объявлением независимости (р. 164–180).

Подобная динамика вполне закономерна: скажем, имея перед глазами пример более или менее успешно развивающегося Сомалиленда, провозгласившего себя суверенным еще в 1991 году, в самый разгар гражданской войны, о своей «независимости» (отвергнутой в столице) в 2022-м объявил и Пунтленд, властителей которого заботила не столько перспектива реального выхода из-под опеки центра, сколько возможность спекулировать своим «суверенным статусом» всякий раз, когда с федеративным торгом что-то не ладится (р. 171–173). Конечно, подобное обращение с принципами федерализма не характерно для стабильных федеративных систем, и оно, бесспорно, угрожает территориальной целостности, но Сомали – случай особый; несмотря на свою кажущуюся абсурдность, даже этот странноватый «федерализм взаимных угроз» вольно или невольно культивирует у всех участников сомалийского пасьянса культуру диалога и компромисса, заставляя их держаться вместе – и тем самым сохранять на международной арене такую эфемерную (пока) сущность, как Федеративная Республика Сомали.

В заключение в книге анализируется кейс туарегов, которых авторы красноречиво именуют «курдами Африки». Трагичность судьбы этого народа, так и не получившего собственной государственности в процессе деколонизации, поначалу усу-

гублялась искусственностью новых государственных границ, принудительно разделивших относительно целостную прежде общность, а затем расколом созданного им политического движения за независимость Азавада. Присоединение части борцов за независимость к радикальным исламским группировками дискредитировало не только их самих, но и все движение туарегов и как следствие – подорвало идею создания туарегского государства в глазах международного сообщества (р. 194–197). Туареги тем не менее продолжают генерировать федералистские проекты, либо предлагая их правительствам тех стран, где проживают, либо стремясь с их помощью разрешить собственные внутренние конфликты.

Показательно, что книга не содержит заключения: по-видимому, авторы тем самым намекают, что федерализация и децентрализация в Африке – история с открытым финалом. Тем не менее некоторые мысли, обобщающие изученные на ее страницах кейсы, можно извлечь из предисловия. Ученые отмечают, что после деколонизации в Африке утвердились по большей части централистские формы политического бытия, объясняя это так:

«Конструирование национальной идеи требовало сплоченности и преодоления внутренних размежеваний и разделений, а этому соответствовали нарративы “сильного лидерства” и “национального единства”. Применительно к государственному устройству такой подход выливался в доминирование унитаризма и централизма» (р. 3).

Однако, продолжают они, к середине 1990-х на Африканском континенте сформировался комплекс факторов, сделавших децентрализацию востребованной даже там, где вертикальные властные пирамиды прижились особенно прочно. Во-первых, завершение «холодной войны» обнажило

неустойчивость многих африканских диктатур, вдруг оставшихся без своих традиционных спонсоров. Во-вторых, примерно в то же время международные финансовые организации выделили «дурное правление» в качестве главной причины, не позволяющей молодым нациям идти вперед – и, следовательно, мешающей инвестировать средства в их развитие.

«В результате требование децентрализации управленческих моделей превратилось в императив, без учета которого на внешних рынках нельзя было получать заимствований. В итоге у многих африканских государств не осталось выбора: разрабатывать и внедрять проекты рассредоточения власти их в последние десятилетия заставляет сама жизнь. Иначе говоря, Африка продолжит освоение федералистского инструментария, подталкиваемая к тому как внутренними, так и внешними факторами» (р. 4).

Скрупулезный и разносторонний анализ опыта африканского федерализма, представленный в рецензируемой работе, наполняет жизнью некоторые теоретические выводы современной компаративистики⁵. В частности, рассмотренные выше кейсы подтверждают слова еще одного классика федералистской мысли, Уильяма Ливингстона:

«Институциональные структуры как по форме, так и по функциям являются лишь поверхностными проявлениями более глубокого федеративного качества общества, которое всегда остается менее очевидным. Суть федерализма заключается не в институциональной или конституционной структуре, а в самом обществе»⁶.

Институции, которые были навязаны тем или иным африканским странам в рамках федеративных экспериментов, приживались плохо, поскольку у них отсутствовала первооснова в виде соответствующих политических сообществ; однако там, где их активно поддерживали местные элиты, они продолжали существовать – пусть и в искаженном виде.

Исходя из сказанного перед общественными науками, занимающимися африканской государственностью, стоят две важные задачи: во-первых, надо оценить драматичный опыт федерализма в Африке и найти новые смыслы, которыми можно было бы наполнить его сохранившиеся институты; во-вторых, требуется спроектировать новые институты, имеющие более прочные социальные основания в политических сообществах и способные содействовать их дальнейшему развитию. Серьезная научная работа, проделанная авторами рецензируемой книги, вполне отвечает этим запросам. Кроме того, их труд можно рассматривать и как систематически организованный перечень фатальных ошибок, которых попечителям федеративных государств, включая и Россию, следует избегать. Последнее тем более верно в свете того, что Африка в последние годы становится нам все ближе и ближе.

Вадим Корольков, ассистент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, глава дискуссионного клуба федералистов

⁵ О методологических особенностях подобных сравнительных исследований см. мнение одного из видных исследователей федерализма: Эрк Ж. *Сделать сравнительный федерализм по-настоящему сравнительным: уроки и выводы из законодательства и практики федерализма в Африке* // *Федерализм в современном публичном праве: собрание трудов V Международной научно-практической конференции* / Под ред. С.А. Авакьяна, Э.О. Григорян, М.М. Ильчиковой, В.В. Королькова. М.: Блок-Принт, 2023. С. 238–250.

⁶ LIVINGSTON W.S. *A Note on the Nature of Federalism* // *Political Science Quarterly*. 1952. Vol. 67. № 1. P. 84.

НЕЗАВИСИМОСТЬ, НО ЧАСТИЧНАЯ

Governing Partially Independent Nation-Territories: Evidence from Northern Europe

JAN SUNDBERG, STEFAN SJÖBLOM (EDS.)

Cham: Palgrave Macmillan, 2024. – 320 p.



На современной карте мира можно найти политики самых разных типов, включая классические национальные государства, самоуправляемые территории, наднациональные интеграционные объединения. Естественно, что все это многоцветье, стимулируемое хаотичностью и спонтанностью нынешнего этапа мировой политики, привлекает внимание теоретиков и практиков. В этом плане рецензируемый коллективный труд, вышедший под редакцией исследователей Шведской школы социальных наук при Университете Хельсинки, кажется как своевременным, так и симптоматичным. В центре их внимания оказалась концепция «частично независимых территорий», предложенная одним из авторов сборника – преподавателем Дартмутского колледжа (США) Дэвидом Резвани, – который применяет ее к нескольким кейсам: к Шотландии, Гренландии, а также Фарерским и Аландским островам.

Из восьми глав работы первые три посвящены теоретическим аспектам осмысления проблемы, в четырех последующих рассматриваются конкретные территориальные примеры, а в заключительной – подводятся итоги исследования. Как заявляют составители в самом начале, им хочется понять, «удалось ли частично независимым территориям Северной Европы запустить региональное государственное строительство и повысить качество своего государственного управления» (р. 1). Интересно, что критериями успешности здесь выступают выгоды не только самой частично независимой территории, но и государства, в составе которого она пребывает.

Предваряя исследование, Дэвид Резвани и Ян Сундберг (Университет Хельсинки, Финляндия) в первой главе подвергают критической деконструкции концепты, которые обычно привлекаются для осмысления статуса частично независимых территорий: в ряду таковых оказываются «регионализм», «автономия», «деволюция». Авторы критикуют присущие названным понятиям слишком широкие концептуальные границы, которые не способствуют теоретической ясности; кроме того, эти термины никак не помогают отделить друг от друга случаи, когда властные полномочия распределяются суверенным государством самостоятельно и когда это делается под внешним давлением.

Здесь же читателю предлагается краткий эволюционный очерк концепта «суверенитет», в котором противопоставляются две позиции. С одной стороны, это констатация монолитности и неделимости суверенитета («все или ничего»), которая отличает классиков реализма: например, согласно Гансу Моргентау, суверенным может быть только национальное государство и никаких аспектов суверенитета отдельным регионам передать нельзя. С другой стороны, это отрицание какого бы то ни было суверенитета в принципе: по мнению, в частности,

Стивена Краснера, из-за многообразия политических в современном мире соответствующее понятие оказывается «фальшью» (р. 4). Третья группа теоретиков позиционирует себя между этими крайностями: для них суверенитет есть просто набор функций, теоретически распределяемых в любой конфигурации, как горизонтально, так и вертикально.

Авторам главы близка именно последняя парадигма, и они выделяют в суверенитете два основных элемента, власть и контроль, каждый из которых может быть внутренним и внешним. Комбинируя указанные параметры друг с другом, они получают четыре вида политий: суверенные государства, *de facto* государства, квазигосударства и частично независимые территории. Последние определяются как «этнически само-бытные и конституционно обособленные регионы, которые разделяют некоторые полномочия по принятию политически значимых решений с основным государством» (р. 8). Частично независимые территории могут существовать лишь в унитарных (прежде всего регионализированных) государствах и обладают четырьмя базовыми характеристиками: закрепленным самоуправлением, национальной специфичностью, конституционной асимметрией, ограниченной дееспособностью во внешней политике (р. 18). Главной движущей силой, генерирующей частично независимые территории, объявляется наличие выраженного этнического субстрата.

Во второй главе разбираются плюсы и минусы этнических автономий. В своем анализе автор – в этой роли снова выступает Дэвид Резвани – не слишком объективен, поскольку открыто симпатизирует подобным автономиям, а аргументы их противников представляет лишь бегло и вскользь. В частности, критиков этноавтономий он упрекает в том, что последние якобы специально фокусируются на случаях слабого автономизма, где плохо зафиксированная и

слабо гарантированная передача полномочий от центра к регионам провоцирует неопределенность и противостояние. Именно такими ситуациями объясняется большое количество этнополитических конфликтов в современном мире: если автономия не-мощна, а гарантии ее существования зыбки, то она готова защищать себя вооруженным путем – лишь бы только избежать полного поглощения (р. 47).

Автономии, стремящейся избежать насилия, нужно, опираясь на механизмы доверия, договориться с центром о том, чтобы передача ей полномочий была бы надежно закреплена. Наиболее простой, формально-легальный тип такого закрепления опирается на официальное разграничение прерогатив между частично независимой территорией и центром. Но, поскольку такой вариант достижим не всегда, вместо него может использоваться второй тип обеспечения нужных гарантий: общепризнанно-конвенциональный, опирающийся на установившиеся традиции, правила или другие неправовые формы фиксации взаимных обязательств. Наконец, самой сложной для идентификации формой считается политически-формальный тип, в котором полномочия гарантируются в силу политического влияния (давления), мешающего суверенному центру узурпировать права автономной территории.

В третьей главе происходит довольно неожиданный методологический разворот: в качестве теоретической рамки для обобщения эмпирики ее авторы – Ян Сундберг и Стефан Шёблом (Университет Хельсинки, Финляндия) – предлагают использовать концепцию политической системы, выдвинутую в свое время Дэвидом Истоном. Сегодня в политологических кругах эта старая теория воспринимается неоднозначно: признавая ее вклад в развитие мировой политической науки, ее критикуют за узость и абстрактность, и поэтому спрос на нее невелик. Классическая истоновская диада

«input – output» в обновленной интерпретации превращается в триаду «input – output – outcomes». Если «вход» символизируют партийно-электоральная, управленческая, административная и экономическая системы, то на «выходе» представлены полномочия региона, законодательные границы между ним и центром, а также гарантии автономии. Что же касается «результатов», то в этом качестве предлагается рассматривать уровни социально-экономического развития, общей удовлетворенности населения, уверенности граждан в самоуправлении.

Четвертая глава посвящена кейсу Шотландии. Здесь Малколм Харви (Университет Абердина, Великобритания) привлекает еще одну классическую теорию: противопоставление мажоритарной и консенсусной моделей демократии, которое предложил Аренд Лейпхарт. По мысли автора, британская политическая система со временем трансформировалась из мажоритарной в консенсусную, причем ведущую роль в этом сыграла деволюционная реформа, проведенная в 1990-х лейбористским правительством (р. 100).

Нынешнюю Шотландию предлагается анализировать в предложенной выше рамке «вход – выход – результат». В качестве элементов «входа» здесь предъявляются непосредственные следствия деволюции: становление шотландского парламента, трансформация региональной партийной системы, передача региону экономических, финансовых и социальных полномочий. Эффективное функционирование «входа» укрепило местные партии, особенно Шотландскую национальную партию, удвоившую с конца 1990-х представительство в парламенте и потеснившую лейбористов с лидирующих позиций. На «выходе» мы находим конституционно закрепленный раздел полномочий между центром и регионом, а также значительный рост местного ВВП и снижение безработицы. Говоря об

этом, автор опирается на опросы общественного мнения: по его мнению, цифры свидетельствуют об устойчиво позитивной оценке самоопределения. Вместе с тем он отдает себе отчет в наличии в шотландской ситуации очевидной исследовательской проблемы: что же конкретно надо видеть в широкой общественной поддержке автономии – одобрение функционирования института в текущий момент или же запрос на дальнейшую автономизацию вплоть до независимости? Однозначного ответа у автора нет, что едва ли удивительно.

По всей видимости, пятая глава, которую написали Мария Акрен и Уффе Якобсен (Гренландский университет), повысит рецензируемой книге рейтинги читаемости, ибо она посвящена автономизму Гренландии. Авторы подчеркивают, что Закон о самоопределении 2009 года позволяет острову выйти из состава «большого» государства, если будет проведен соответствующий референдум. В точке «входа» гренландская система, оставаясь многопартийной, довольно давно демонстрирует явный крен влево, дополняемый стремлением к независимости. Лишь одна местная партия, «Атассут», в настоящее время поддерживает идею территориального единства с Данией, да и то при сохранении широкой автономии; все остальные партии так или иначе склоняются к независимости, предлагая разные пути ее достижения. (В этом плане, кстати, показательны парламентские выборы, состоявшиеся в марте 2025 года, в ходе которых 90% мест в местном законодательном собрании достались сторонникам отделения.) Экономически Гренландия зависима от Дании: центр ежегодно выплачивает региону грант, размер которого был зафиксирован в 2009 году.

В свою очередь «выход» представлен иерархической конституционной структурой, в рамках которой положения Конституции Дании имеют безусловный приоритет перед Законом о самоопределении Гренлан-

дии. Хотя соблюдение указанного требования контролируется верховным комиссаром, назначаемым датским правительством, принятие законодательства Гренландии, а также контроль над исполнением законодательных норм остаются в ведении островного парламента. В плане социально-экономического развития Гренландия отстает от других северных стран – из-за высоких затрат, сложных природных условий, ограниченной инфраструктуры, отсутствия крупных населенных пунктов, – однако это отставание небольшое. Именно поэтому расширение автономии и обретение независимости не являются безусловными приоритетами: согласно опросам общественного мнения, местные жители считают, что для становления суверенного государства прежде всего нужна устойчивая экономика (р. 165). Исходя из этого граждане Гренландии, говоря о своем отношении к Дании, предпочитают *status quo* и не настаивают на независимости в ближайшем будущем (р. 168).

В шестой главе рассматривается другая датская территория – Фарерские острова. Как отмечает Халлбера Вест (Орхусский университет, Дания), здесь, в отличие от Гренландии, четкое конституционное закрепление самоопределения отсутствует; вместо него с середины XX века используется модель гомруля, предусматривающая различные вариации самоуправления зависимой территории. Политическая палитра региона напоминает гренландскую: тут тоже есть свои правые и левые, однако партии представлены более равновесно и наряду со сторонниками независимости имеются столь же внушительные лоялистские движения.

В связи с тем, что самоопределение закрепляется по большей части неформально, сфера полномочий Фарерских островов, которая расширялась постепенно, сегодня выглядит весьма обширной и включает в себя политические компетенции, налоги, образование, здравоохранение, социальную,

финансовую и промышленную политику. Значительная часть жизни региона регламентируется исключительно местным законодательством, а не нормами центрального правительства. Другой особенностью территории выступает усиливающееся влияние европейского законодательства и европейских практик: несмотря на то, что сами Фареры не входят в Европейский союз, они тесно связаны с этим объединением в разных сферах.

Высокий уровень демократического и электорального участия граждан свидетельствует об их удовлетворенности нынешним уровнем самоуправления, что объясняется среди прочего хорошими экономическими показателями территории (р. 211). Но консенсуса относительно будущих взаимоотношений с Данией на островах тем не менее не наблюдается, несмотря на то, что тема становится все более актуальной по мере развития Арктического региона и все более ощутимого его воздействия на мировую политику.

Седьмая глава посвящена автономии Аландских островов в составе Финляндии. Здесь автономизм явился результатом компромисса, достигнутого Швецией и Финляндией после Первой мировой войны. Этот случай, как пишут Ян Сундберг и Стефан Шёблом, отличается от предыдущих тем, что обсуждаемая территория имеет нетипично тесные институциональные связи с центром: например, президент Финляндии обладает правом активно участвовать в ее законодательном процессе, хотя сами полномочия Аландских островов достаточно широки. Примечательно также и то, что набор действующих в регионе партий довольно обширен: значимую роль в становлении этого разнообразия сыграла Шведская народная партия, вслед за которой обозначили себя как финские, так и местные региональные партии.

Аландские острова ведут самостоятельную политику, активно развивая социаль-

ную сферу, перераспределяя налоговые излишки, а также поддерживая систему экономического выравнивания. Впрочем, несмотря на впечатляюще широкое самоуправление, в 2010 году территория предложила реформировать свои отношения с финским государством. И хотя в этих предложениях стремление к независимости не просматривалось, большую часть из них власти Финляндии не удовлетворили. Но даже и без расширения автономии регион демонстрирует немалые успехи: на сегодня ВВП на душу населения на Аландских островах значительно выше, чем в Финляндии и в большинстве стран ЕС, и не случайно более 60% местных жителей удовлетворены работой островных демократических институтов (р. 258, 261).

Как отмечают в итоговой и обобщающей главе редакторы книги, собранные в ней примеры базируются на передаче полномочий, осуществляемой по инициативе самих регионов. Хотя в каждом конкретном случае есть особенности, такой формат обеспечивает двустороннее взаимопонимание. По мнению ученых, такие формы автономизма более успешны, чем территориальная сецессия, остающаяся извечным «ночным кошмаром» для любого суверенного государства (р. 272). Примеряя к автономным регионам различные комбинации власти и контроля, авторы формулируют четыре базовых опции (р. 273). Во-первых, ограниченные компетенции автономии могут сочетаться с активным вмешательством со стороны государства. Во-вторых, территория может обладать довольно узким кругом прерогатив, но при этом иметь возможность прово-

дить политику без существенного вмешательства основного государства. В-третьих, полномочия региона могут быть, напротив, большими, но зато контроль со стороны государственного центра весьма жестким. Наконец, в-четвертых, наличие полномочий по управлению собственными делами может сочетаться с полным невмешательством со стороны основного государства. Если первый вариант авторы считают наименее худшим, то последний представляется им наилучшим.

Поясняя свой интерес к рассмотренной в книге весьма экзотической форме государственности, составители указывают на связанные с ней универсальные импликации: практики частично независимых территорий, на их взгляд, предлагают многообразием обществ перспективную модель разрешения потенциальных конфликтов (р. 309). Как утверждается в работе, современный мир открывает перед такими политиями новые возможности: ведь даже став независимыми, они найдут на кого положиться, поскольку сегодня существенный сегмент функций суверенного государства можно будет передать ЕС или, если речь идет не о Европе, каким-то иным наднациональным структурам. Впрочем, полный суверенитет вовсе не обязательно выступает конечной точкой политического развития: порой одних разговоров о возможном отделении уже достаточно, чтобы частично независимая территория получала санкцию центра на расширение своих полномочий.

Юлия Фролова, доцент кафедры политологии РГПУ имени А.И. Герцена (Санкт-Петербург)